

Александр Романович Беляев

Ни жизнь, ни смерть



Ни жизнь, ни смерть
Александр Романович Беляев
Александр Беляев

Ни жизнь, ни смерть

1. МИСТЕР КАРЛСОН ПРЕДЛАГАЕТ СВОЙ ПЛАН

— Что вы на это скажете? — спросил мистер Карлсон, окончив изложение своего проекта.

Крупный углепромышленник Гильберт ничего не ответил. Он находился в самом скверном расположении духа. Перед самым приходом Карлсона главный директор сообщил ему, что дела на угольных шахтах обстоят из рук вон плохо. Экспорт падает. Советская нефть все более вытесняет конкурентов на азиатском и даже на европейском рынках. Банки отказывают в кредите. Правительство находит невозможным дальнейшее субсидирование крупной угольной промышленности. Рабочие волнуются, дерзко предъявляют невыполнимые требования, угрожают затопить шахты. Надо найти какой-то выход.

И в этот самый момент, как будто в насмешку, судьба подсылает какого-то Карлсона с его сумасшедшим проектом.

Гильберт хмурил свои рыжие брови и мял длинными желтоватыми зубами ароматичную сигаретку. На его бритом озабоченном лице застыло выражение скуки. Он молчал.

Но Карлсон не из тех, кого обескураживает молчание. Неопределенной профессии и неизвестного происхождения, маленький, суетливый человек с ирландским акцентом, коротким носом, черными волосами, стоящими, как у ежа, Карлсон вонзил свои острые глазки в усталые, выцветшие глаза Гильберта и сверлил их своей настойчивой беспокойной мыслью.

— Что вы на это скажете? — повторил он свой вопрос.

— Черт знает что такое, какая-то мороженная человечина . — наконец апатично ответил Гильберт и с безразличной миной положил сигаретку.

— Позвольте! Позвольте! — вскочил, как на пружине, Карлсон. — Вы, очевидно, недостаточно усвоили себе мою идею?..

— Признаюсь, не имею особого желания и усваивать. Это глупость или безумие.

— Не безумие, не глупость, а величайшее изобретение, которое в умелых руках принесет человеку миллионы! А если вы сомневаетесь, то позвольте вам напомнить историю этого изобретения.

И Карлсон затараторил, как будто он отвечал заученный урок:

— Анабиоз случайно открыт русским ученым Бахметьевым.

Изучая температуру насекомых, этот ученый заметил, что при постепенном охлаждении температура тела насекомого падает, затем, достигая температуры минус девять и три десятых градуса Цельсия, сразу поднимается почти до нуля, а затем вновь опускается уже до температуры окружающей среды, примерно на двадцать два градуса ниже нуля. И тогда насекомое впадает в странное состояние — ни сна, ни смерти: все жизненные процессы приостанавливаются, и насекомое может лежать, окоченелое и замороженное, неопределенно долгое время. Но достаточно осторожно и постепенно подогреть насекомое, и оно оживает и продолжает жить как ни в чем не бывало. От насекомых Бахметьев перешел к рыбам. Он замораживал, например, карася, который пролежал в окоченении, или анабиозе, как назвал это состояние Бахметьев, несколько месяцев. Подогретый, он вернулся к жизни и плавал, как всегда.

Смерть ученого прервала эти интересные опыты, и о них скоро забыли. И, как это часто бывает, русские изобретают, а плодами их изобретений пользуются другие.

Вспомните Яблочкова, вспомните изобретателя радиотелеграфа Попова, вспомните, наконец, Циолковского... Так было и на этот раз. Изобретением Бахметьева воспользовался немец Штейнгауз для практических целей: перевозки и хранения живой рыбы. Как вам известно, он нажил миллионы!

Гильберт заинтересовался и слушал Карлсона уже с некоторым вниманием.

— Благодарю вас за лекцию, — сказал он. — Я сам получаю к столу свежую рыбу, пойманную в отдаленных морях. Но, признаться, я не интересовался способом ее замораживания. Тем или другим, не все ли равно? Только бы рыба была абсолютно свежей. И, вы говорите, Штейнгауз заработал на этом деле миллионы?

— Десятки, сотни миллионов! Он теперь один из самых богатых людей Германии!

Гильберт задумался.

— Но ведь это только рыбы, — сказал он после паузы, — а вы предлагаете совершенно невероятную вещь: замораживать людей! Возможно ли это?

— Возможно! Теперь возможно! Бахметьев замораживал животных, подвергающихся зимней спячке, так называемых холонокровных: сурка, ежа, летучую мышь. Что касается теплокровных животных, то их ему не удавалось подвергать анабиозу. Однако русский же ученый, профессор Вагнер, известный своей победой над сном, изобрел способ изменять состав крови теплокровных животных, приближая их к крови холонокровных животных. И ему удалось уже благополучно «заморозить» и оживить обезьяну.

— Но не человека?

— Какая разница?

Гильберт недовольно тряхнул головой, а Карлсон улыбнулся.

— Я говорю лишь с точки зрения биологии и физиологии. У обезьян совершенно одинаковый с человеком состав крови. Абсолютно одинаковый. И вот вам необычайные, но вполне осуществимые перспективы: массовое замораживание людей, в данном случае э., э., безработных. Кому не известно, какое критическое положение переживает угольная промышленность, да одна ли угольная? Периодические кризисы и сопровождающая их безработица, к сожалению, постоянное бедствие нашего общественного строя. На этом играют всякие смутьяны, вроде коммунистов, предсказывающие гибель капитализма от раздирающих его внутренних противоречий. Пусть они не спешат хоронить капитализм! Капитализм найдет выход, и одним из выходов является предлагаемый мною способ!

Разразится кризис — и мы заморозим безработных и сложим их в особых ледниках. А минует кризис, появится спрос на рабочие руки, мы подогреем их, — и пожалуйте в шахту.

Карлсон вдохновился и говорил, как на трибуне.

— Ха-ха-ха! — не удержался Гильберт. — Да вы шутник, мистер?..

— Карлсон. И я говорю совершенно серьезно, — обиделся Карлсон. Гильберта начинал занимать этот человек.

— Да, — продолжая смеяться, сказал углепромышленник, — бывают такие мерзкие времена, когда, кажется, и самого себя охотно заморозил бы до лучших дней! Но сколько будет стоить ваш сумасшедший проект? Надо строить специальные здания, поддерживать в них специальную температуру!

Карлсон поднял палец вверх, потом приставил его к своей колючей шевелюре.

— Здесь все обдумано! Мой план проще! Вам как владельцу шахт должно быть известно, что теплота увеличивается приблизительно на один градус с каждыми семьюдесятью футами в глубину Земли. Вам также известно, что в Гренландии, за Полярным кругом, в ледниках Гумбольдта найдены богатейшие залежи великолепнейшего каменного угля. Как только угольный рынок окрепнет, вы сможете начать там разработку. Вы получите ряд шахт различной глубины с различной температурой. И эта температура будет оставаться там неизменно во все времена года. Остается только ввести небольшие поправки, чтобы приспособить шахты для наших целей. Я не буду затруднять вас сейчас изложением подробностей, но могу представить, когда вы прикажете, вполне разработанный технический план и смету.

«Что за курьезный человек», — подумал Гильберт и задал Карлсону вопрос:

— Скажите, пожалуйста, да вы сами-то кто: инженер, ученый, профессор?

— Я прожектор! Ученые и профессора умеют высидеть в своих лабораториях прекрасные яйца, но они не всегда умеют разбить их и приготовить яичницу! Надо уметь из невещественных идей извлекать вещественные фунты стерлингов.

Гильберт улыбнулся и, подумав немного, протянул Карлсону коробку с сигаретами.

«Победа», — ликовал в душе Карлсон, зажигая сигарету электрической зажигалкой, стоящей на столе. Но Гильберт еще не сдавался.

— Допустим, что все это возможно. Однако я предвижу целый ряд препятствий. Первое: получим ли мы разрешение правительства?

— А почему бы правительству и не дать этого разрешения, если мы докажем полную безопасность применения к людям анабиоза? Социальное же значение этой меры наше правительство прекрасно учтет.

— Да, это так, — ответил Гильберт, перебирая в уме членов консервативного правительства, большинство которых имело личные крупные интересы в угольной промышленности.

— Но самый главный вопрос: пойдут ли на это рабочие? Согласятся ли они периодически «замирать» на время безработицы?

— Согласятся! Нужда заставит! — убежденно сказал Карлсон. — Люди с голоду вешаются, топятся, а тут вроде отдыха! Конечно, умело подойти надо. Прежде всего нужно найти смельчаков, которые согласились бы подвергнуть себя анабиозу. Этим первым надо посулить крупные суммы вознаграждения. Когда они «воскреснут», ими надо воспользоваться как рекламой. Затем первое время надо будет обещать денежную поддержку семьям. Но конечно, придется заткнуть глотку и кое-кому из рабочей аристократии, состоящей в лидерах так называемого рабочего движения. А дальше, вы увидите, что дальше все пойдет как по маслу. Безработные будут «замораживаться» целыми семьями. И страшное зло — безработица — будет уничтожено. У вас будут развязаны руки. Необычайные перспективы откроются для вас! Миллионы, десятки миллионов потекут в ваши сейфы и несгораемые шкафы! Решайтесь! Скажите «да», и я завтра же представлю вам все сметы, планы и расчеты.

Здравый практический смысл говорил Гильберту, что весь этот фантастический план был чистой авантюрой. Но Гильберт переживал такое финансовое положение, когда человек перед страхом неминуемого краха бросается в самые рискованные предприятия. А Карлсон рисовал такие заманчивые перспективы! Крупный коммерсант и делец стыдился признаться самому себе, что он, как утопающий, готов ухватиться за эту химерическую соломинку «мороженой человечины».

— Ваш проект слишком необычен. Я подумаю и дам вам ответ!..

— Подумайте, подумайте! — охотно согласился Карлсон, поднимаясь с кресла. — Не смею вас задерживать, — и он вышел, довольно улыбаясь. — Клюет! — весело крикнул он, окунаясь в клокочущий котел уличного движения Сити.

2. СТРАННЫЙ КЛИЕНТ

— Карлсон, вы разорили меня! — с кислой миной говорил Гильберт. — Я затратил громадные средства на оборудование подземных телохранилищ. Я бросаю деньги на рекламу и наши объявления. И тем не менее за весь месяц газетной кампании не явилось ни одного лица, желающего подвергнуть себя первому публичному опыту замораживания, несмотря на предлагаемое нами хорошее вознаграждение. Очевидно, жизнь рабочих не так плоха, Карлсон, как кричат об этом социалисты! И в конце концов, если анабиоз такая безопасная штука, почему бы вам, Карлсон, не подвергнуть себя первому опыту?

— Меня?

— Ну да, вас!

— Меня самого? — еще раз спросил Карлсон и взъерошил свои щетинистые волосы. — Я готов! Да, да! Я готов! Но что станет со всем делом? Оно уснет вместе со мной! Нет, усыпляя других, кому-нибудь надо бодрствовать! Я прожектер! Без таких, как я, весь мир погрузился бы в спячку анабиоза!

Их препирательства были прекращены стуком входной двери. В контору вошел необычайно тощий человек с шарфом, намотанным вокруг длинной шеи. При свете сильной лампы большие круглые очки посетителя сверкали, как автомобильные фары. Он откашлялся и протянул номер газеты.

— Я по объявлению. Здравствуйте! Позвольте представиться. Эдуард Лесли, астроном.

Карлсон шаром подкатился к посетителю.

— Очень рады с вами познакомиться! Прошу садиться! Вы желаете подвергнуть себя опыту? Условия наши вам известны? Мы уплатим вам значительную сумму и обеспечим семью пожизненной пенсией в случае., гм... Но конечно, этого случая не произойдет!..

— Не надо! Кхе-кхе... Не надо вознаграждения. Мое имя, кажется, достаточно говорит за то, что я не нуждаюсь в деньгах. — Лесли

поморщился. — У меня другое.., кхе-кхе, проклятый кашель...

— Из научных целей, так сказать?

— Да, научных, но только не тех, о которых вы, наверное, думаете. Я астроном, как сказал вам. Мною написан большой труд о группе Леонид, которые падали в ноябре из созвездия Льва...

Лесли опить закашлялся, ухватившись рукою за грудь.

Откашлявшись, он оживился и вдруг с жаром заговорил:

— Группа эта наблюдалась Гумбольдтом в Южной Америке в тысяча семьсот девяносто девятом году. Он прекрасно описал это чудесное небесное явление. Затем Леониды приближались к Земле в тысяча восемьсот тридцать третьем или тысяча восемьсот шестьдесят шестом году. Их ждали через обычный период времени в тридцать три — тридцать четыре года, в тысяча восемьсот девяносто девятом году. Но тут с ними случилось несчастье... Да-с, несчастье! Они слишком близко подошли к планете Юпитер, притяжение которой отклонило их от обычной орбиты, и теперь они проходят свой путь на расстоянии двух миллионов километров от Земли, так что они почти невидимы для нас...

Лесли сделал паузу, чтобы снова откашляться.

Карлсон, давно уже выражавший нетерпение, постарался воспользоваться этой паузой.

— Позвольте, уважаемый профессор, но какое отношение имеют падающие звезды Леониды, созвездие Льва и сам Юпитер к нашему предприятию?

Лесли дернул длинной шеей и с некоторым раздражением наставительно заметил:

— Имейте терпение дослушать, молодой человек! — И он, демонстративно повернувшись на стуле, обратился к Гильберту:

— Я занят сложными вычислениями, о которых не буду говорить подробно. Эти вычисления связаны с судьбою группы Леонид. Точность моих вычислений оспаривает мой почтенный коллега Зауер...

Гильберт переглянулся с Карлсоном. Не с маньяком ли они имеют дело?

Взгляд этот поймал Лесли, и, с раздражением дернув шеей, он окончил речь, направив свои круглые очки в потолок, будто проверяя

свои мысли небу:

— Я болен., последняя стадия туберкулеза.

— Но вы не по адресу обратились, уважаемый профессор! — сказал Карлсон.

— По адресу! Извольте-с дослушать. Я болен и скоро умру. А ближайшее появление Леонид в поле нашего зрения можно ожидать только в тысяча девятьсот тридцать третьем году. Я не доживу до этого времени. Между тем я могу доказать свою правоту научному миру только в результате дополнительных наблюдений. И вот я прошу вас подвергнуть меня анабиозу и вернуть к жизни в тысяча девятьсот тридцать третьем году, потом опять погрузить в анабиоз, пробуждая в тысяча девятьсот шестьдесят пятом году, затем в тысяча девятьсот девяносто восьмом году и, наконец, в две тысячи двадцать первом году. Ясно? — И Лесли устали свои окуляры на собеседников.

— Совершенно ясно! — ответил Гильберт. — Но, уважаемый профессор, к тому времени ваш ученый противник может умереть и вам некому будет доказывать вашу правоту!

— Мы, астрономы, живем в вечности! — с гордостью ответил Лесли.

— Это все очень занятно, — сказал Карлсон. — Я вижу, что анабиоз — очень хорошая вещь для астрономов. Вы, например, можете попросить разбудить вас, когда погаснет Солнце, чтобы проверить верность ваших вычислений. Но мы — не астрономы — интересуемся более близким будущим. Сейчас нам нужен лишь опыт в доказательство того, что анабиоз совершенно безвреден и безопасен для жизни. Поэтому мы ставим условием, чтобы пребывание в анабиозе не длилось более месяца. Второе условие: процессы погружения в анабиоз и возвращения к жизни должны происходить публично.

— На это я согласен. Но месяц меня совершенно не устраивает! — И огорченный Лесли стал завязывать шарф вокруг своей длинной шеи.

— Позвольте, — остановил его Гильберт. — Мы могли бы сделать так: мы «пробуждаем» вас через месяц, а потом опять погружаем вас в анабиоз на какое угодно вам время!

— Отлично! — воскликнул обрадованный Лесли. — Я готов!

— Вы должны подписать ряд обязательств, и заявлений о том, что вы по доброй воле подвергаете себя анабиозу и не имеете никаких претензий к нам в случае неблагоприятного исхода. Это только для формальности, но все же...

— Согласен, согласен на все! Вот вам моя рука! Сообщите, когда я вам буду нужен! — И обрадованный Лесли быстро вышел из конторы...

— Ну что? Ключуло? — повторил Карлсон свое любимое выражение,;! когда Лесли ушел, и хлопнул по плечу Гильберта. Гильберт" поморщился от этой фамильярности.

— Не совсем то, что нам нужно. Вот если бы пару рабочих, которые раззвонили бы потом в шахтах.

— Будут и рабочие! Терпение, мой молодой друг, как говорит этот астроном!

— Можно войти? — в дверь конторы просунулась лохматая голова.

— Пожалуйста, прошу вас!

В контору вошел молодой человек в желтом клетчатом костюме. Сделав театральный жест широкополой шляпой, незнакомец отрекомендовался:

— Мерэ. Француз. Поэт.

И, не ожидая ответного приветствия, он нараспев начал:

Устал от муки ожиданья,

Устал гоняться за мечтой,

Устал от счастья и страданья,

Устал я быть самим собой.

Уснуть и спать, не пробуждаясь,

Чтоб о самом себе забыть

И, в сон последний погружаясь,

Не знать, не чувствовать, не жить.

Замораживайте! Готов.

Пускай горячею слезою

Мой труп холодный оживит!

Деньги даете сейчас или после пробуждения?

— После!

— Не согласен! Черт его знает, воскресите ли вы меня. Деньги на бочку. Кутну в последний раз, а там делайте, что хотите! Гильберта заинтересовал этот курьезный лохматый поэт.

— Я могу дать вам авансом пять фунтов стерлингов. Это устроит вас?

У поэта глаза сверкнули голодным блеском. Пять фунтов! Пять хороших английских фунтов! Человеку, который питался сонетами и триолетами!

— Конечно! Продал душу черту и готов кровью подписать договор! Когда поэт ушел, Карлсон набросился на Гильберта;

— Вы упрекаете меня в том, что я разоряю вас, а сами бросаете деньги на ветер. Зачем вы дали аванс? Не видите, что это за птица? Держу пари на пять фунтов, что он не вернется!

— Принимаю! Посмотрим! Однако сегодня счастливый день! Смотрите, еще кто-то!

В контору входил изящно одетый молодой человек.

— Позвольте представиться: Лесли!

— Еще один Лесли! Неужели все Лесли питают склонность к анабиозу? — воскликнул Карлсон. Лесли улыбнулся.

— Я не ошибся. Значит, дядюшка уже был. Я Артур Лесли. Мои дядя, Эдуард Лесли, профессор астрономии, сообщил мне прискорбную весть о том, что хочет подвергнуть себя опыту анабиоза...

— А я полагал, что вы сами не прочь испытать на себе этот интересный опыт! Подумайте, ведь вы станете одним из самых модных людей в Лондоне! — закидывал удочку Карлсон.

Но на этот раз рыба не клевала.

— Я не нуждаюсь в столь экстравагантных способах популярности, — со скромной гордостью проговорил молодой человек.

— В таком случае вы опасаетесь за дядюшку? Совершенно напрасно! Его жизнь не подвергается ни малейшей опасности!

— Неужели? — с большим интересом осведомился Артур Лесли.

— Можете быть спокойны!

— Никакой опасности! — тихо проговорил Лесли, и Карлсону послышалось, что еще тише Лесли добавил: «Очень жаль». — А

нельзя ли отговорить дядю от этого опыта? Ведь он туберкулезный, и при слабости его здоровья едва ли он годен для опыта. Вы рискуете и только можете скомпрометировать ваше дело.

— Мы настолько уверены в успехе, что не видим никакого риска.

— Послушайте! Я заплачу вам. Хорошо заплачу, если вы откажетесь от дядюшки как объекта вашего опыта!

— Мы не идем на подкуп, — вмешался в разговор Гильберт. — Но если вы скажете причину, то, может быть, мы и пойдем вам навстречу.

— Причину? Э-э., она столь щекотливого свойства...

— Мы умеем молчать!

— Как это ни неприятно, но я должен быть откровенным... Видите ли, мой дядюшка богат, страшно богат. А я., его единственный наследник. Дядюшка безнадежно болен. Врачи говорят, что его дни сочтены. Быть может, только несколько месяцев отделяют меня от богатства. Это как нельзя более кстати; я имею невесту. И в этот самый момент ему попадается ваше объявление, и он решается подвергнуть себя анабиозу и уснуть чуть ли не на сто лет, пробуждаясь от времени до времени только для того, чтобы посмотреть на какие-то падающие звезды! Войдите в мое положение. Ведь не может же суд утвердить меня в правах наследства, пока дядюшка будет в анабиозе!

— Конечно" нет!

— Вот видите! Но тогда прощай наследство! Его получают мои прапрапраправнуки!

— Мы можем «заморозить» и вас вместе с вашим дядюшкой. И вы будете лежать мумией до получения наследства.

— Благодарю вас! Этак рискнешь пролежать до скончания мира. Итак, вы отказываетесь иметь дело с дядюшкой?

— Было бы странно с нашей стороны отказываться после того, как мы сами опубликовали объявление о вызове охотника.

— Ваше последнее слово?

— Последнее слово!

— Тем хуже для вас! — И, хлопнув дверью, Артур Лесли вышел.

3. НЕУТЕШНЫЙ ПЛЕМЯННИК

Первый опыт анабиоза человека решено было произвести в самом Лондоне, в специально нанятом помещении, публично. Широкая реклама привлекла в огромный белый зал многочисленных

зрителей. Несмотря на то, что зал был переполнен, в нем искусственно поддерживали температуру ниже нуля. Для того чтобы не производить неприятного впечатления на публику, операцию вливания в кровь человека особого состава для придания ей свойства крови холонокровных животных решили производить в особой комнате, куда могли иметь доступ только родные и друзья лиц, подвергавшихся опыту.

Эдуард Лесли явился по своему обыкновению с астрономической точностью, минута в минуту, ровно в двенадцать часов дня. Карлсон испугался, увидав его, — до того астроном осунулся. Лихорадочный румянец покрывал его щеки. При каждом вдохе кадык судорожно двигался на тонкой шее, а на платке, который профессор подносил ко рту во время приступов кашля, Карлсон заметил капли крови.

«Плохое начало», — думал Карлсон, ведя астронома под руку в отдельную комнату.

Вслед за Эдуардом Лесли шел племянник с лицом убитого горем родственника, провожающего на кладбище любимого дядюшку.

Толпа жадно разглядывала астронома. Щелкали фотографические аппараты репортеров газет.

За Лесли закрылась дверь кабинета. И публика в нетерпеливом ожидании стала осматривать «эшафоты», как называл кто-то стоявшие высоко посреди зала приспособления для анабиоза.

Эти «эшафоты» напоминали громадные аквариумы с двойными стеклянными стенами. Это были два стеклянных ящика, вложенные один в другой. Меньший по размерам ящик служил для помещения человека, а между стенками обоих ящиков находилось приспособление для понижения температуры.

Один «эшафот» предназначался для Лесли, другой — для Мерэ, который с поэтической неточностью опоздал.

Пока врачи готовились в кабинете к операции и выслушивали у Лесли пульс и сердце, Карлсон несколько раз в нетерпении вбегал в зал справиться, не пришел ли Мерэ.

— Вот видите! — крикнул Карлсон, в третий раз вбегая в кабинет и обращаясь к Гильберту. — Я был прав. Мерэ не явился.

Гильберт пожал плечами.

Но в этот момент дверь кабинета с шумом раскрылась, и на пороге появился поэт. Его лицо и одежда носили явные следы дурно проведенной ночи. Блуждающие глаза, глупая улыбка и нетвердая походка говорили за то, что ночной угар еще далеко не испарился из его головы.

Карлсон с гневом набросился на Мерэ:

— Послушайте, ведь это безобразие! Вы пьяны! Мерэ ухмыльнулся, покачиваясь во все стороны.

— У нас во Франции, — ответил он, — есть обычай: исполнять последнюю волю обреченного на смерть и угощать его перед казнью блюдами и винами, какие только он пожелает. И многие, идя на смерть, насмерть и напиваются. Меня вы хотите «заморозить». Это ни жизнь, ни смерть. Поэтому я и пил с середины на половину: ни пьян, ни трезв.

Разговор этот был прерван неожиданным криком хирурга:

— Подождите! Дайте свежий раствор! Влейте его в новую стерилизованную кружку!

Карлсон оглянулся. Полураздетый Эдуард Лесли сидел на белом стуле, тяжело дыша впалой грудью. Хирург зажимал пинцетом уже вскрытую вену.

— Вы видите, — нервничал хирург, обращаясь к помогавшей ему сестре милосердия, которая высоко держала стеклянную кружку с химическим раствором, — жидкость помутнела! Дайте другой раствор Жидкость должна быть абсолютно чиста Сестре быстро принесли бутылку с раствором и новую кружку. Вливание было произведено.

— Как вы себя чувствуете?

— Благодарю вас, — ответил астроном, — терпимо.

Вслед за Лесли операции вливания подвергся Мерэ.

В легкой одежде, сделанной из материи, свободно пропускающей тепло, их ввели в зал.

Взволнованная толпа притихла По приставленной лестнице Лесли и Мерэ взошли на «эшафоты» и легли в свои стеклянные гробы И здесь, уже лежа на белой простыне, Мерэ вдруг продекламировал охрипшим голосом эпитафию Сципиону римского поэта Энния:

Тот погребен здесь, кому

Ни граждане, ни чужеземцы
Были не в силах воздать
Чести, достойной его
И вслед за этим неожиданно он захрапел усталым сном
охмелевшего человека.

Эдуард Лесли лежал как мертвец. Черты лица его заострились. Он часто дышал короткими вздохами.

Хирург, следя за термометром, начал охлаждать воздух между стеклянными стенами.

По мере понижения температуры стал утихать храп Мерэ. Дыхание Лесли было едва заметно. Мерэ раз или два шевельнул рукой и затих. У Лесли глаза оставались полуоткрытыми. Наконец дыхание прекратилось у обоих, а у Лесли глаза затуманились. В этот же момент стеклянные крышки были надвинуты на «гробы». Доступ воздуха был прекращен.

— Двадцать один градус по Цельсию. Анабиоз наступил — слышался голос хирурга среди полной тишины.

Публика медленно выходила из зала.

Гильберт, Карлсон и хирург прошли в кабинет. Хирург сейчас же засел за какой-то химический анализ. Гильберт хмурился — В конце концов все это производит удручающее впечатление Я был прав, настаивая на том, чтобы дать публике только зрелище пробуждения. Эти похороны отобьют у всякого охоту подвергать себя анабиозу. Хорошо еще, что этот шалопай Мерэ внес комическую ноту в этот погребальный хор — Вы правы и не правы, Гильберт, — ответил Карлсон. — Картина получилась невеселая, это верно. Но толпа должна видеть все от начала до конца, иначе она не поверит! У наших «покойничков» установлено контрольное дежурство. Они открыты для обозрения во всякое время дня и ночи. И если мы проиграли на похоронах, то вдвое выиграем на воскресении Меня занимает другое операция вливания довольно неприятна и сложна. Для массового замораживания людей она негодна. Но мне писали, что профессор Вагнер нашел более упрощенный способ нужного изменения крови путем вдыхания особых паров — Черт возьми! Я подозревал это! — вдруг воскликнул хирург, поднимая пробирку с какой-то жидкостью.
— В чем дело, доктор?

— А дело в том, что весь наш опыт и сама жизнь профессора Лесли висели на волоске. Как вы помните, при вливании химического раствора я обратил внимание на то, что жидкость стала мутной. Этого не должно было быть ни в коем случае. Я самолично составлял жидкость в условиях абсолютной стерильности. Теперь я хотел установить причины помутнения жидкости.

— И что же вы нашли? — спросил Гильберт.

— Присутствие синильной кислоты.

— Яд!

— Один из самых сильных. Убивает мгновенно, и от него нет спасения.

— Но как он туда попал?

— В этом весь вопрос!

— Это Артур Лесли. Неутешный племянник астронома. Вы помните, Гильберт, его просьбу и потом угрозу? Какой негодяй! А ведь, смотрите, какое душевное прискорбие разыграл?

— Когда он мог это сделать? Кажется, он не подходил близко к аппаратам...

— Да, — задумчиво проговорил хирург, — возможно, что тут замешаны другие. Быть может, сестра милосердия?..

— Нужно дать знать полиции! Ведь это преступление! — воскликнул возмущенный Гильберт.

— Ни в коем случае! — возразил Карлсон. — Это только повредит нам, особенно среди рабочих, на которых мы в конечном итоге рассчитываем. И в конце концов, что может сделать полиция? Кого мы можем обвинять? Артура Лесли — заинтересованное лицо? Но у нас нет никаких доказательств, что он замешан в преступлении.

— Может быть, вы правы, — задумчиво проговорил Гильберт. — Но во всяком случае, нам надо быть очень осторожными.

4. ВОСКРЕШЕНИЕ МЕРТВЫХ

Прошел месяц. Приближался день «воскрешения мертвых». Публика волновалась. Шли споры, удастся ли вернуть к жизни погруженных в анабиоз.

В ночь накануне оживления хирург в присутствии Гильберта и Карлсона осмотрел Лесли и Мерэ. Они лежали, как трупы, холодные, бездыханные.

Хирург постучал своим докторским молоточком по замерзшим губам поэта, и удары четко разнеслись по пустому залу, как будто молоточек ударял по куску дерева. Ресницы покрылись изморозью от вышедшего из тела тепла.

При осмотре тела астронома наметанный глаз хирурга заметил на обнаженной руке небольшой бугорок под кожей. На вершине бугорка виднелось едва заметное пятнышко, как будто от укола, а ниже — замерзшая капля какой-то жидкости.

Хирург неодобрительно покачал головой. Соскоблив ланцетом замерзшую каплю, хирург осторожно отнес этот кусочек льда в кабинет и там подверг его химическому анализу. Карлсон и Гильберт внимательно следили за работой хирурга.

— Ну что?

— То же самое! Опять синильная кислота! Несмотря на все наши предосторожности, Артуру Лесли, по-видимому, удалось каким-то путем впрыснуть под кожу своего обожаемого дядюшки несколько капель смертоносного яда!

Гильберт и Карлсон были удручены.

— Все погибло! — в отчаянии проговорил Гильберт. — Эдуард Лесли не проснется больше. Наше дело безнадежно скомпрометировано. Карлсон бесновался.

— Под суд его, негодяя! Теперь и я вижу, что этого преступника надо передать в руки правосудия, хотя бы скандал и повредил нам! Хирург, подперев голову рукою, о чем-то думал.

— Подождите, может быть, еще ничего не потеряно! — наконец заговорил он. — Не забывайте, что яд был впрыснут под кожу совершенно замороженного тела, в котором приостановлены все жизненные процессы. Всасывания не могло быть. При отсутствии кровообращения яд не мог разнестись и по крови. Если ядовитая жидкость была нагрета, то она могла в небольшом количестве проникнуть под кожу, которая под влиянием тепла стала более эластичной. Но дальше жидкость не могла проникнуть. По капле, выступившей в месте укола, вы можете судить, что преступнику не удалось ввести значительного количества.

— Но ведь и одной капли достаточно, чтобы отравить человека?

— Совершенно верно. Однако эту каплю мы можем преспокойно удалить, вырезав ее с кусочком мяса.

— Неужели вы думаете, что человек может остаться живым после того, как яд находился в его теле, быть может, две-три недели?

— А почему бы и нет? Нужно только вырезать поглубже, чтобы ни одной капли не осталось в теле! Разогреть тело, хотя бы частично, рискованно. Придется произвести оригинальную «холодную» операцию.

И, взяв молоток и инструмент, напоминающий долото, хирург отправился к трупам и стал срубить бугорок, работая, как скульптор над мраморной статуей. Кожа и мышцы мелкими морожеными осколками падали на дно ящика. Скоро в руке образовалось небольшое углубление.

— Ну, кажется, довольно!

Осколки тщательно смели. Углубления смазали йодом, который тотчас замерз.

За окном начиналось уличное движение. У дома стояла уже очередь ожидающих.

Двери открыли, и зал наполнился публикой.

Ровно в двенадцать дня сняли стеклянные крышки ящиков, и хирург начал медленно повышать температуру, глядя на термометр.

— Восемнадцать.., десять.., пять ниже нуля. Нуль!.. Один.., два.., пять.., выше нуля!.. Пауза. Иней на ресницах Мерэ стоял и, как слезинки, наполнил углы глаз.

Первый шевельнулся Мерэ. Напряжение в зале достигло высшей степени. И среди наступившей тишины Мерэ вдруг громко чихнул. Это разрядило напряжение толпы, и она загудела, как улей. Мерэ поднялся, уселся в своем стеклянном ящике, зевнул и посмотрел на толпу осоловелыми глазами.

— С добрым утром! — кто-то шутливо приветствовал его из толпы.

— Благодарю вас! Но мне смертельно хочется спать! — И он клюнул головой.

В публике послышался смех.

— За месяц не выспался!

— Да ведь он пьян! — слышались голоса.

— В момент погружения в анабиоз, — громко пояснил хирург, — мистер Мерэ находился в состоянии опьянения. В таком состоянии застиг его анабиоз, прекративший все процессы организма. Теперь, при возвращении к жизни, естественно, Мерэ оказался еще под влиянием хмеля. И так как он, очевидно, не спал в ночь перед анабиозом, то он чувствует потребность сна. Анабиоз не сон, а нечто среднее между сном и жизнью.

— Кровь! Кровь! — послышался чей-то испуганный женский голос. Хирург посмотрел вокруг. Взгляды толпы были устремлены на тело Лесли. На рукаве его халата выступало кровавое пятно.

— Успокойтесь! — воскликнул хирург. — Здесь нет ничего страшного. Во время анабиоза профессору Лесли пришлось сделать небольшую операцию, не имеющую отношения к его замораживанию. Как только кровь отогрелась и возобновилось кровообращение, из раны выступила кровь. Вот и все. Мы сейчас сделаем перевязку. — И, разорвав рукав халата Лесли, хирург быстро забинтовал его руку. Во время перевязки Лесли пришел в себя.

— Как вы себя чувствуете?

— Благодарю вас, хорошо. Кажется, мне легче дышать. Действительно, Лесли дышал ровно, без судорожных движений груди.

— Вы видели, — обратился хирург к толпе, — что опыт анабиоза удался. Теперь подвергшиеся анабиозу будут освидетельствованы врачами-специалистами.

Толпа шумно расходилась, а Мерэ и Лесли прошли в кабинет.

5. ВЫГОДНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

При тщательном медицинском освидетельствовании Эдуарда Лесли выяснились неожиданные последствия анабиоза. Оказалось, что под влиянием низкой температуры все туберкулезные палочки, находящиеся в больных легких Лесли, были убиты и Эдуард Лесли, таким образом, совершенно излечился от туберкулеза.

Правда, еще при опытах Бахметьева такая возможность теоретически предполагалась. Но теперь это был неопровержимый факт, блестяще разрешивший вопрос о борьбе с туберкулезом, этим страшным врагом человечества.

Карлсон не ошибся. Эдуард Лесли и Мерэ стали самыми модными людьми в Лондоне, да и во всем мире. Их интервьюировали, снимали, приглашали для публичных выступлений. Астроном, хотя и чувствовал себя теперь совершенно здоровым, тяготился этим непривычным шумом. Он настоял на том, чтобы его вновь подвергли анабиозу до 1933 года.

— Мне надо консервировать себя для науки, — говорил он.

И его желание было исполнено. Его перевезли в Гренландию. И он первым спустился в глубокие шахты «Консерваториума», как было названо это подземное хранилище для массового замораживания людей.

Зато Мерэ прямо купался в волнах популярности. Он не удовлетворялся публичными выступлениями. Он написал стихотворную поэму «На том берегу Стикса». Он писал о том, как его душа, освободившись от оков окоченевшего тела, понеслась вихрем в голубом эфире Мирового пространства. Она плавала на светящихся кольцах Сатурна. Посещала планеты отдаленных звезд, «где растут лиловые люди-цветы, поющие вечную песнь счастья». Она витала в пространствах четвертого измерения, где предметы измеряются в ширину, длину, глубину.

«На земле нет подходящего выражения», — писал Мерэ и путано объяснял условия существования в мире четвертого измерения, «где нет времени», где нет понятий «вне» и «внутри», — где все предметы проницают друг друга, не смешивая своих форм. Он писал о необычайных встречах на Млечном Пути, уводящем за пределы известного нам звездного неба.

Его поэма, разумеется, не выдерживала ни малейшей научной критики: в состоянии анабиоза он не мог даже видеть сны своим замороженным мозгом. Но публика, падкая до сенсаций, склонная к мистицизму, увлекалась этими фантастическими картинами. Нашлись любители сильных ощущений, пожелавшие испытать на себе ощущение «полета в беспредельных пространствах», погружаясь в анабиоз. Они, конечно, ничего не чувствовали, как замороженная туша, но, «пробуждаясь», поддерживали ложь Мерэ.

Сверх всякого ожидания анабиоз принес Гильберту громадные барыши. Помимо любителей острых ощущений, к Гильберту

стекались со всего света больные туберкулезом. Гренландский «санаторий» работал прекрасно. Больные получали полное излечение. А скоро прибавились еще новые клиенты. Английское правительство признало более «гуманным» и, главное, дешевым подвергать «неисправимых» преступников анабиозу вместо , пожизненного заключения и “смертной казни.

Наконец, анабиоз был применен для перевозки скота. Вместо невкусного, замороженного обычным способом мяса, получаемого из Австралии, в Англию стали доставлять животных в состоянии анабиоза. Их не надо было кормить в дороге, а по привозе на место их отогревали, оживляли; и англичане получали к столу самое свежее и дешевое мясо.

Карлсон потирал руки. На его долю падала немалая часть огромных доходов, которые приносил анабиоз.

— Ну что? — говорил он самодовольно Гильберту. — Теперь вы понимаете, что значит прожектер? Ваши деньги и мои проекты принесли вам миллионы. Без меня вы давно разорились бы с вашими угольными шахтами!

— Угольные шахты и сейчас дают мне убыток, — отвечал Гильберт. — Сбыта нет, рабочие несговорчивы, правительство отказывает в субсидиях. Да, Карлсон, жизнь — сложная штука! Вы хороший прожектер, но жизнь проводит свои проекты вопреки нашему желанию. Мы пред полагали замораживать безработных вместе с их семьями, а вместо этого превратили наши холодильники в санатории и тюрьмы!

— Терпение! Придут и рабочие! Теперь у вас имеются свободные капиталы. Обещайте хорошее содержание семьям рабочих в том случае, если глава их семьи захочет подвергнуть себя анабиозу. Поверьте, они пойдут на эту удочку! А когда они по привыкнут к анабиозу, можно будет сбавить цену. В конце концов они сами будут просить, чтобы их заморозили вместе с семьями, только бы не голодать! Они придут! Нужда загонит! Поверьте мне, они придут!

И они пришли...

6. ВО ЛЬДАХ ГРЕНЛАНДИИ

Холодный осенний ветер валил с ног. Молодой шахтер-забойщик, работавший в кардиффских шахтах, понурился, медленно

подходил к небольшому коттеджу, видневшемуся сквозь обнаженные ветви сада.

Бенджэмин Джонсон постоял у двери, глубоко вздохнул, прежде чем открыть ее, и, наконец, несмело вошел в дом.

Его жена, Фредерика Джонсон, мыла у большого камина посуду. Двухлетний сын Самуэль уже спал.

Фредерика вопросительно посмотрела на мужа.

Джонсон, не раздеваясь, опустился на стул и тихо проговорил:

— Не достал...

Тарелка выскользнула из рук Фредерики и со звоном упала в лохань. Она со страхом оглянулась на ребенка, но он не проснулся.

— Забастовочный комитет не имеет больше средств... В лавке не отпускают в кредит...

Фредерика перестала мыть посуду, отерла руку о фартук и молча села к столу, глядя в угол, чтобы скрыть от мужа свое волнение.

Джонсон медленно вынул из кармана легкого не по сезону пальто измятый номер газеты и положил на стол перед женой.

— На вот, читай.

И Фредерика, смахивая слезу, которая застилала ей глаза, прочитала крупное объявление:

«Пять фунтов в неделю получают семьи рабочих, согласившихся проспать до весны...» Дальше шло объяснение, что такое анабиоз. Фредерика уже слыхала о нем. Агенты Гильберта уже давно вели пропаганду анабиоза среди рабочих.

— Ты не сделаешь этого! — твердо сказала она. — Мы не скоты, чтобы нас замораживали!

— Городские джентльмены не брезгают анабиозом!

— С жиру бесятся твои джентльмены! Они нам не указ!

— Послушай, Фредерика, но ведь в конце концов в этом нет ничего ни страшного, ни постыдного. Опасности для меня никакой. Я не штрейкбре-херствую, ничьих интересов не затрагиваю.

— А мои, а твои собственные интересы? Ведь это же почти смерть, хотя и на время! Мы должны бороться за право на жизнь, а не отлеживаться замороженными тушами до тех пор, пока господа хозяева не соблаговолят воскресить нас!

Она разгорячилась и говорила слишком громко.

Маленький Самуэль проснулся, заплакал и стал просить есть. Фредерика взяла его на руки, стала укачивать. Джонсон с тоской смотрел на русую головку сына. Он так побледнел за последнее время! Побледнела и Фредерика...

Ребенок уснул, и Фредерика опустила у стола, закрыв лицо руками. Она не могла больше сдерживать слез.

Бенджэмин гладил своей грубой рукой ее пушистые волосы, такие же светлые, как у сына, и ласково, как ребенка, уговаривал:

— Ведь я за вас болею душой! Пойми же! Завтра Самуэль будет иметь большие кружки дымящегося молока и белый хлеб, а у тебя на столе будет хороший кусок говядины, картофель, масло, кофе... Разлучаться трудно, но ведь это только до весны! Зацветут яблони в нашем саду, и я опять буду с вами. Я встречу вас, веселых, здоровых, цветущих, как наши яблони!..

Фредерика еще раз всхлипнула и умолкла.

— Спать пора, Бен...

Больше они ни о чем не говорили.

Но Бенджэмин знал, что она согласна. А на другой день, простившись с женой и ребенком, он уже летел на Пассажи́рском аэроплане в Гренландию.

Серо-зеленая пелена Атлантического океана сменилась полярными картинами севера. Ледяная пустыня с разбросанными по ней кое-где горными вершинами... Временами аэроплан пролетал низко над землей, и тогда видны были хозяева этих пустынных мест — белые медведи. При виде аэроплана они в ужасе поднимались на дыбы, протягивая вверх лапы, как бы прося пощады, потом бросались убежать с неожиданной скоростью.

Джонсон невольно улыбался им, завидовал суровой, но вольной их жизни.

Вдали показались постройки и аэродром.

— Прилетели!

Дальнейшие события шли необычайно быстро.

Джонсона пригласили в контору «Консерваториума», где записали его фамилию, адрес и снабдили номером, который был прикреплен к руке в виде браслета.

Затем он спустился в подземные помещения.

Подземная машина летела вниз с головокружительной быстротой, пересекая ряд горизонтальных шахт. Температура постепенно повышалась. В верхних шахтах она была значительно ниже нуля, тогда как внизу поднималась до десяти градусов.

Машина неожиданно остановилась.

Джонсон вошел в ярко освещенную комнату, посреди которой находилась площадка с четырьмя металлическими канатами, уходящими в широкое отверстие в потолке. На площадке находилась низкая кровать, застланная белой простыней. Джонсона переодели в легкий халат и предложили лечь в кровать. На лицо надели маску, заставляя его дышать какими-то парами.

— Можно? — услышал он голос врача. И в ту же минуту площадка с его кроватью стала подниматься вверх. Скоро он почувствовал все усиливавшийся холод. Наконец холод стал невыносимым. Он пытался крикнуть, сойти с площадки, но все члены его тела как бы окаменели... Сознание его стало мутиться. И вдруг он почувствовал, как приятная теплота разливается по его телу. Но это был обман чувств, который испытывают все замерзающие: в последнем усилии организм поднимает температуру тела перед тем, как отдать все тепло холодному пространству. В это короткое время мысли Джонсона заработали с необычайной быстротой и ясностью. Вернее, это были не мысли, а яркие образы. Он видел свой сад в золотых лучах солнца, яблони, покрытые пушистыми белыми цветами, желтую дорожку, по которой бежит к нему навстречу его маленький Самуэль, а вслед за ним идет улыбающаяся, юная, краснощекая, белокурая Фредерика...

Потом все стало меркнуть, и он окончательно потерял сознание. Через какое-нибудь мгновение оно вернулось к нему, и он открыл глаза. Перед ним, наклонившись, сидел молодой человек.

— Как вы себя чувствуете, Джонсон? — спросил он, улыбаясь.

— Благодарю вас, небольшая слабость в теле, а в общем не плохо, — ответил Джонсон, оглядываясь вокруг. Он лежал в белой ярко освещенной комнате.

— Подкрепитесь стаканом вина и бульоном, а потом в дорогу!

— Позвольте, доктор, а как же с анабиозом? Он не удался, или в шахтах срочно потребовались рабочие? Молодой человек

улыбнулся.

— Я не доктор. Будем знакомы. Моя фамилия Крукс, — и он протянул Джонсону руку. — Анабиоз удался, но мы об этом еще успеем поговорить. Нас ждет аэроплан!

Джонсон, удивляясь, что с анабиозом так скоро покончено, быстро оделся и поднялся с Круксом на поверхность.

«А Фредерика-то проплакала небось всю ночь», — думал он, улыбаясь скорой встрече.

У входа в подземелье стоял большой пассажирский аэроплан. Кругом расстилалась вечная ледяная пустыня. Была ночь.

Северное сияние полосовало небо снопами лучей нежной меняющейся окраски.

Джонсон, уже в теплой шубе, с удовольствием вдыхал чистый морозный воздух.

— Я доставлю вас до дому! — сказал Крукс, помогая Джонсону подняться по лестнице в кабину.

Аэроплан быстро взвился в воздух.

Джонсон увидел ту же пересеченную местность, те же оледенелые кратеры, появляющиеся от времени до времени на пути, как степные курганы, и тех же медведей, которым он так недавно позавидовал. Вот и древние седые волны Атлантического океана. Еще немного времени, и на горизонте в сизом тумане показались берега Англии.

Кардифф., шахты., уютные коттеджи... Вот виднеется и его беленький коттедж, утопающий в густой зелени сада. У Джонсона сильно забило сердце. Сейчас он увидит Фредерику, возьмет на руки маленького Самуэля и начнет подбрасывать вверх.

«Еще, еще!» — будет лепетать малыш по своему обыкновению.

Аэроплан сделал крутой вираж и спустился на лужайке у домика Джонсона.

7. ВОЗВРАЩЕНИЕ

Джонсон в нетерпении вышел из кабины.

Воздух был теплый. Сбросив шубу, Джонсон побежал к домику. Крукс едва поспевал за ним.

Был прекрасный осенний вечер. Заходившее солнце ярко освещало крупные красные яблоки на яблонях сада.

— Однако, — с удивлением произнес Джонсон, — неужели я проспал до осени?

Он подбежал к ограде сада и увидел сына и жену. Маленький Самуэль сидел среди осенних цветов и со смехом бросал яблоки матери. Лицо Фредерики не было видно за ветками яблони.

— Самуэль! Фредерика! — радостно закричал Джонсон и, перепрыгнув через низкую ограду, побежал через клумбы навстречу жене и сыну.

Но малыш, вместо того чтобы броситься навстречу отцу, заплакал, увидя приближавшегося Джонсона, и в испуге бросился к матери.

Джонсон остановился и вдруг увидал свою ошибку: это были не Самуэль и Фредерика, хотя мальчик очень походил на его сына. Молодая мать вышла из-за дерева. Она была одних лет с Фредерикой, такая же светлая и румяная. Но волосы были темнее. Конечно, это не Фредерика! И как только он мог ошибиться! Вероятно, это одна из соседок или подруг Фредерики.

Джонсон медленно подошел и поклонился. Молодая женщина выжидательно смотрела на него.

— Простите, я, кажется, испугал вашего сына, — сказал он, приглядываясь к ребенку и удивляясь сходству с Самуэлем. — Фредерика дома?

— Какая Фредерика? — спросила женщина.

— Фредерика Джонсон, моя жена!

— Не ошиблись ли вы адресом? — ответила женщина. — Здесь нет Фредерики...

— Хорошенькое дело! Чтобы я ошибся в адресе собственного дома!

— Вашего дома?..

— А чьего же? — Джонсона начала раздражать эта бестолковая женщина.

На пороге домика показался молодой человек лет тридцати трех, привлеченный, очевидно, шумом голосов.

— В чем дело, Элен? — спросил он, не сходя со ступеньки крыльца и попыхивая коротенькой трубкой.

— Дело в том, — ответил Джонсон на вопрос, обращенный не к нему, — что за время моего отсутствия здесь, очевидно, произошли

какие-то изменения... В моем доме поселились другие...

— В вашем доме? — насмешливо спросил молодой человек, стоявший на крыльце.

— Да, в моем доме! — ответил Джонсон, махнув рукой на свой коттедж.

— С кем же я имею честь говорить? — спросил молодой человек.

— Я Бенджэмин Джонсон!

— Бенджэмин Джонсон? — переспросил молодой человек и расхохотался. — Слышишь, Элен? — обратился он к женщине. — Еще один Бенджэмин Джонсон и владелец этого коттеджа!

— Позвольте вас уверить, — вдруг вмешался в разговор подошедший Крукс, — что перед вами действительно Бенджэмин Джонсон, — и он указал на Джонсона рукой.

— Это становится занятно. И свидетеля с собой притащил! Позвольте и вам сказать, что ваша шутка неудачна. Тридцать три года я был Бенджэмин Джонсон, родившийся в этом самом доме и его собственник, а теперь вы хотите меня убедить, что собственник дома, Бенджэмин Джонсон, вот этот молодой человек!

— Я не только хочу, но и надеюсь убедить вас в этом, если вы разрешите зайти в дом и разъяснить вам некоторые обстоятельства, очевидно неизвестные вам.

Крукс говорил так убедительно, что молодой человек, подумав немного, пригласил его и Джонсона в дом.

С волнением вошел Джонсон в свой дом, который оставил так недавно. Он еще надеялся встретить на обычном месте, у камина, Фредерику и сына, играющего у ее ног на полу. Но их там не было...

С жадным любопытством окинул Джонсон комнату, в которой провел столько радостных и горьких минут.

Вся мебель была незнакомой, чуждой ему.

Только над камином висели еще расписные тарелки елизаветинских времен — фамильная драгоценность Джонсонов.

А у камина в глубоком кресле сидел седой, дряхлый старик с завернутыми в плед ногами, несмотря на теплый день. Старик окинул вошедших недружелюбным взглядом.

— Отец, — обратился молодой человек к старику, — вот эти люди утверждают, что один из них Бенджэмин Джонсон и собственник

дома. Не желаешь ли заполучить еще одного сынка?

— Бенджэмин Джонсон, — прошамкал старик, разглядывая Крукса, — так звали моего отца.., но он давно погиб в Гренландии, в этом проклятом леднике, где морозили людей!..

— Позвольте мне рассказать, как было дело, — ответил Крукс. — Прежде всего, Джонсон не я, а вот он. Я Крукс. Ученый, историк. И, обращаясь к старику, он начал свой рассказ:

— Вам было, если не ошибаюсь, около двух лет, когда ваш отец, Бенджэмин Джонсон, попался на удочку углепромышленника Гильберта и решил подвергнуть себя «замораживанию», чтобы спасти вас и вашу мать от голодной смерти во время безработицы. Примеру Джонсона скоро последовали и многие другие пострадавшие и отчаявшиеся семейные рабочие. Пустовавший «Консерваториум» на северо-западном берегу Гренландии быстро заполнился телами замороженных рабочих. Но Карлсон и Гильберт ошиблись в своих расчетах.

Замораживание рабочих не разрешило кризиса, который переживал английский капитализм. Даже наоборот: это только обострило разгоревшиеся страсти классовой борьбы. Наиболее стойкие рабочие были возмущены «замороженной человечинной», как называли они применение анабиоза к «консервированию» безработных, и использовали замораживание как агитационное средство. Вспыхнула революция. Отряд вооруженных рабочих, захватив аэропланы, направился в Гренландию с целью оживить своих братьев, спавших мертвым сном, и поставить их в ряды борющихся.

Тогда Карлсон и Гильберт, желая предупредить события, дали по радио приказ своим прислужникам в Гренландии взорвать «Консерваториум», надеясь объяснить это преступление несчастным случаем.

Радиотелеграмма была перехвачена, и Карлсон и Гильберт понесли заслуженное наказание. Однако радиоволны летят быстрее всякого аэроплана. И когда летчики спустились у цели своего полета, они застали только зияющие, дымящиеся пропасти, обломки построек и куски мороженого человеческого мяса. Удалось раскопать несколько нетронутых катастрофой тел, но и эти погибли

от слишком быстрого повышения температуры, а может быть, и от удушья. Работы затруднялись тем, что планы подземных телохранилищ исчезли. Оставалось только поставить памятник над этим печальным местом. Прошло семьдесят три года...

Джонсон невольно вскрикнул.

— И вот не так давно, изучая историю нашей революции по архивным материалам, в архиве одного из бывших министерств я нашел заявление Гильберта с просьбой о разрешении ему построить «Консерваториум» для консервирования безработных. Гильберт подробно и красноречиво писал о том, какую пользу можно извлечь из этого средства в «деле изжития периодических кризисов и связанным с ними рабочих волнений». Рукою министра на этом заявлении была наложена резолюция: «Конечно, лучше, если они будут мирно почивать, чем бунтовать разрешить...»

Но самым интересным было то, что к заявлению Гильберта был приложен план шахт. И в этом плане мое внимание привлекла одна шахта, шедшая далеко в сторону от общей сети. Не знаю, какими соображениями руководствовались строители шахт, прокладывая эту галерею. Меня заинтересовало другое: в этой шахте могли остаться тела, не поврежденные катастрофой. Я тотчас сообщил об этом нашему правительству. Была снаряжена специальная экспедиция. Приступили к раскопкам. После нескольких недель неудачных поисков нам удалось открыть вход в эту шахту. Она была почти не тронута, и мы направились в глубь ее.

Жуткое зрелище представилось нашим глазам. Вдоль длинного коридора в стенах были устроены ниши в три ряда, а в них лежали тела. Ближе к входу, очевидно, проник горячий воздух, при взрыве он сразу убил лежавших в анабиозе людей. Ближе к середине шахт температура, видимо, повышалась более медленно, и несколько рабочих ожили, но они, вероятно, погибли от удушья, голода или холода. Их искаженные лица и судорожно сведенные члены говорили о предсмертных страданиях.

Наконец в самой глубине шахты, за закрытым поворотом, стояла ровная холодная температура. Здесь мы нашли только три тела, остальные ниши были пустые. Со всеми предосторожностями мы постарались оживить их. И это нам удалось.

Первым из них был известный астроном Эдуард Лесли, гибель которого оплакивал весь ученый мир, вторым — поэт Мерэ и третьим — Бенджэмин Джонсон, только что доставленный мною сюда на аэроплане... Если моих слов недостаточно, в подтверждение их я могу привести неоспоримые доказательства. Я кончил!

Все сидели молча, пораженные рассказом. Наконец Джонсон тяжело вздохнул и сказал:

— Значит, я проспал семьдесят три года? Отчего же вы не сказали мне об этом сразу? — обратился он с упреком к Круксу.

— Дорогой мой, я опасался подвергать вас слишком сильному потрясению после вашего пробуждения.

— Семьдесят три года!.. — в раздумье проговорил Джонсон. — Какой же у нас теперь год?

— Август месяц, тысяча девятьсот девяносто восьмой год.

— Тогда мне было двадцать пять лет, значит, теперь мне девяносто восемь...

— Но биологически вам осталось двадцать пять, — ответил Крукс, — так как все ваши жизненные процессы были приостановлены, пока вы лежали в состоянии анабиоза.

— Но Фредерика, Фредерика!.. — с тоской вскричал Джонсон.

— Увы, ее давно нет! — сказал Крукс.

— Моя мать умерла уже тридцать лет тому назад, — проскрипел старик.

— Вот так штука! — воскликнул молодой человек. И, обращаясь к Джонсону, он сказал:

— Выходит, что вы мой дедушка! Вы моложе меня, у вас семидесятипятилетний сын!..

Джонсону показалось, что он бредит. Он провел ладонью по своему лбу.

— Да.., сын! Самуэль! Мой маленький Самуэль — вот этот старик! Фредерики нет... Вы — мой внук, — обратился он к своему тезке Бенджэмину, — а та женщина и ребенок?..

— Моя жена и сын...

— Ваш сын... Значит, мой правнук! Он в том же возрасте, в каком я оставил моего маленького Самуэля!

Мысль Джонсона отказывалась воспринимать, что этот дряхлый старик и есть его сын... Старик сын также не мог признать в молодом, цветущем, двадцатипятилетнем юноше своего отца...

И они сидели смущенные, в неловком молчании глядя друг на друга...

8. АГАСФЕР

Прошло почти два месяца после того, как Джонсон вернулся к жизни.

В холодный, ветреный сентябрьский день он играл в саду со своим правнуком Георгом.

Игра эта состояла в том, что мальчик усаживался в маленькую летательную машину — авиетку с автоматическим управлением. Джонсон настраивал аппарат управления, пускал мотор, и мальчик, громко крича от восторга, летал вокруг сада на высоте трех метров от земли. После нескольких кругов аппарат плавно опускался на заранее определенное место.

Джонсон долго не мог привыкнуть к этой новой детской забаве, неизвестной в его жизни. Он боялся, что с механизмом может что-либо случиться и ребенок упадет и расшибется. Однако летательный аппарат действовал безукоризненно.

«Посадить ребенка на велосипед тоже казалось нам когда-то опасным», — думал Джонсон, следя за летающим правнуком.

Вдруг резкий порыв ветра отбросил авиетку в сторону. Механическое управление тотчас же восстановило нарушенное равновесие, но ветер отнес аппарат в сторону. Авиетка, изменив направление полета, налетела на яблоню и застряла в ветвях дерева.

«Ребенок в испуге закричал. Джонсон, в не меньшем испуге, бросился на помощь правнуку. Он быстро вскарабкался на яблоню и стал снимать маленького Георга.

— А Сколько раз я говорил вам, чтобы вы не устраивали ваших полетов в саду! — вдруг услышал Джонсон голос своего сына Самуэля. Старик стоял на крыльце и в гневе потрясал кулаком.

— Есть, кажется, площадка для полетов — нет, непременно надо в саду! — Неслухи! Беда с этими мальчишками! Вот поломаете мне яблони, уж я вас!..

Джонсона возмутил этот стариковский эгоизм. Старик Самуэль очень любил печеные яблоки и больше беспокоился за целость яблонь, чем за жизнь внука.

— Ну ты, не забывайся! — воскликнул Джонсон, обращаясь к старику сыну. — Этот сад был впервые разведен мною, когда еще тебя не было на свете! И покрикивай на кого-нибудь другого. Не забывай, что я твой отец!

— Что ж, что отец? — ворчливо ответил старик. — По милости судьбы, у меня отец оказался мальчишкой! Ты мне почти что во внуки годен! Старших слушаться надо! — наставительно закончил он.

— Родителей слушаться надо! — не унимался Джонсон, спуская правнука на землю. — И кроме того, я и старше тебя. Мне девяносто восемь лет!

Маленький Георг побежал в дом к матери.

Старик постоял еще немного, шевеля губами, потом сердито махнул рукой и тоже ушел.

Джонсон отвез авиетку в большую садовую беседку, заменявшую ангар, и там устало опустился на скамейку среди лопат и граблей.

Он чувствовал себя одиноким.

Со стариком сыном у него совершенно не сложились отношения. Двадцатипятилетний отец и семидесятипятилетний сын — это ни с чем не сообразное соотношение лет положило преграду между ними. Как ни напрягал Джонсон свое воображение, оно отказывалось связать воедино два образа: маленького двухлетнего Самуэля и этого дряхлого старика.

Ближе всех он сошелся с правнуком — Георгом. Юность вечна. Дух нового времени не наложил еще на Георга своего отпечатка. Ребенок в возрасте Георга радуется и солнечному лучу, и ласковой улыбке, и красному яблоку так же, как радовались дети его возраста тысячи лет назад. Притом и лицом он напоминал его сына — Самуэля-ребенка... Мать Георга, Элен, также несколько напоминала Джонсону Фредерику, и он не раз останавливал на ней взгляд тоскующей нежности. Но в глазах Элен, устремленных на него, он видел только жалость, смешанную с любопытством и страхом, как будто он был выходцем из могилы.

А ее муж, внук Джонсона, носивший его имя, Бенджэмин Джонсон, был далек ему, как и все люди этого нового, чуждого ему поколения.

Джонсон впервые почувствовал власть времени, власть века. Как жителю долин трудно дышать разреженным горным воздухом, так Джонсону, жившему в первую четверть двадцатого века, трудно было применяться к условиям жизни конца этого века.

Внешне все изменилось не так уж сильно, как можно было предполагать.

Правда, Лондон разросся на многие мили в ширину и поднялся вверх тысячами небоскребов.

Воздушные сообщения сделались почти исключительным способом передвижения.

А в городах движущиеся экипажи были заменены подвижными дорогами. В городах стало тише и чище. Перестали дымить трубы фабрик и заводов. Техника создала новые способы добывания энергии.

Но в общественной жизни и в быте произошло много перемен с его времени.

Рабочих не стало на ступенях общественной лестницы, как низшей группы, группы, отличной от выше стоящих и по костюму, и по образованию, и по привычкам.

Машины почти освободили рабочих от наиболее тяжелого и грязного физического труда.

Здоровые, просто, но хорошо одетые, веселые, независимые рабочие были единственным классом, державшим в руках все нити общественной жизни. Все они получали образование. И Джонсон, учившийся на медные деньги почти сто лет тому назад, чувствовал себя неловко в их среде, несмотря на всю их приветливость.

Все свободное время они проводили больше на воздухе, летая на своих легких авиетках, чем на земле. У них были совершенно иные интересы, запросы, развлечения.

Даже их короткий, сжатый язык, со многими новыми словами, выражавшими новые понятия, был во многом непонятен Джонсону.

Они говорили о новых для Джонсона обществах, учреждениях, новых видах имущества и спорта...

На каждом шагу, при каждой фразе он должен был спрашивать:

— А что это такое?

Ему нужно было нагнать то, что протекало без него в продолжение семидесяти трех лет, и он чувствовал, что не в силах сделать это. Трудность заключалась не только в обширности новых знаний, но и в том, что ум его не был так воспитан, чтобы воспринять и усвоить все накопленное человечеством за три четверти века. Он мог быть только сторонним, чуждым наблюдателем и предметом наблюдения для других. Это также стесняло его. Он чувствовал постоянно направленные на него взгляды скрытого любопытства. Он был чем-то вроде ожившей мумии, археологической находкой занятого предмета старины. Между ним и обществом лежала непреодолимая грань времени.

«Агасфер!.. — подумал он, вспомнив легенду, прочитанную им в юности. — Агасфер, вечный странник, наказанный бессмертием, чуждый всему и всем... К счастью, я не наказан бессмертием! Я могу умереть.., и хочу умереть! Во всем мире нет человека моего времени, за исключением, может быть, нескольких забытых смертью стариков... Но и они не поймут меня, потому что они все время жили, а в моей жизни провал! Нет никого!..»

Вдруг у него в уме шевельнулась неожиданная мысль:

«А те двое, которые ожили вместе со мной там, в Гренландии?»

Он в волнении поднялся. Его неудержимо потянуло к этим неизвестным людям, которые вдруг стали ему так дороги. Они жили в одно время с Фредерикой и маленьким Самуэлем. Какие-то нити протянуты между ними... Но как найти их? Крукс!.. Он должен знать!

Крукс не оставлял Джонсона, пользуясь им как «живым историческим источником» для своей работы по истории революции.

Джонсон поспешил к Круксу и изложил ему свою просьбу, ожидая ответа с таким волнением, как будто ему предстояло свидание с женой и маленьким сыном.

Крукс что-то соображал.

— Сейчас конец сентября... А ноябрь тысяча девятьсот девяносто восьмого года... Ну да, конечно, Эдуард Лесли должен быть уже в Пулковской обсерватории, сидеть за телескопом в поисках своих исчезающих Леонид. В Пулковской обсерватории лучший рефрактор

в мире. Лесли, конечно, там. Там же вы найдете и поэта Мерэ... Он писал мне недавно, что едет к профессору Лесли. — И, улыбнувшись, Крукс добавил:

— Очевидно, все вы, «старички», чувствуете тяготение друг к другу.

Джонсон наскоро простился и отправился в путь с первым отлетающим на Ленинград пассажирским дирижаблем.

Он сам не представлял себе, каково будет предстоящее свидание, но чувствовал, что это все, что еще может интересовать его в жизни.

9. ПОД ЗВЕЗДНЫМ НЕБОМ

Дрожащей рукой Джонсон открыл двери зала Пулковской обсерватории.

Огромный круглый зал тонул во мраке.

Когда глаза несколько привыкли к темноте, Джонсон увидел стоявший среди зала гигантский телескоп, напоминавший дальнобойную пушку, направившую свое жерло в одно из отверстий в куполе. Труба была укреплена на массивной подставке, вдоль которой шла лестница в пятьдесят ступеней. Лестницы вели и к площадке для наблюдения на высоте трех метров. С этой площадки, сверху, слышался чей-то голос:

— ..Отклонение от формы растянутого эллипса и приближение к форме параболы происходит в зависимости от особенного действия масс отдельных планет, которому кометы и астероиды подвергаются при своем движении по направлению к Солнцу. Наибольшее влияние в этом отношении как раз оказывает Юпитер, сила притяжения которого составляет почти тысячную долю притяжения Солнца...

Когда Джонсон услышал этот голос, четко раздавшийся в пустоте зала, когда он услышал эти непонятные слова, на него напала робость.

Зачем он пришел сюда?

Что скажет профессору Лесли? Разве эти параболы и эллипсы не так же непонятны ему, как и новые слова новых людей. Но отступить было поздно, и он кашлянул.

— Кто там?

— Можно видеть профессора Лесли?

Чьи-то шаги быстро простучали по железным ступеням лестницы.

— Я профессор Лесли. Чем могу служить?

— А я Бенджэмин Джонсон, который.., который лежал с вами в Гренландии, погруженный в анабиоз. Мне хотелось поговорить с вами...

И Джонсон путано стал объяснять цель своего прихода. Он говорил о своем одиночестве, о своей потерянности в этом новом, непонятном для него мире, даже о том, что он хотел умереть...

Наверно, эти, новые, не поняли бы его. Но профессор Лесли понял тем легче, что многие переживания Джонсона испытал он сам.

— Не печальтесь, Джонсон, не вы один страдаете от этого разрыва времени. Нечто подобное испытал и я, а также и мой друг Мерэ, позвольте его представить вам.

Джонсон пожал руку спустившемуся Мерэ, по старой привычке, давно оставленной «новыми» людьми, которые восстановили красивый и гигиенический обычай древних римлян поднимать в знак приветствия руку.

— Вы тоже из рабочих? — спросил Джонсон Мерэ, хотя тот очень мало походил на рабочего.

— Нет. Я поэт.

— Зачем же вы замораживали себя?

— Из любопытства... А пожалуй, и из нужды...

— И вы пролежали столько же времени, как и я?

— Нет, несколько меньше. Я пролежал сперва всего два месяца, был «воскрешен», а потом опять решил погрузиться в анабиоз. Я хотел.., как можно дольше сохранить молодость! — и Мерэ засмеялся.

Несмотря на разницу в развитии и в прежнем положении, этих трех людей сближала общая странная судьба и эпоха, в которую они жили. К удивлению Джонсона, беседа приняла оживленный характер. Каждый многое мог рассказать другим.

— Да, друг мой, — обратился Лесли к Джонсону, — не один вы испытываете оторванность от этого нового мира. Я сам ошибся во многих расчетах.

Я решил подвергнуть себя анабиозу, чтобы иметь возможность наблюдать небесные явления, которые происходят через несколько десятков лет. Я хотел разрешить труднейшую для того времени

научную задачу. И что же? Теперь все эти задачи давно разрешены. Наука сделала колоссальные открытия, раскрыла за это время такие тайны неба, о которых мы не смели и мечтать!

Я отстал... Я бесконечно отстал, — с грустью добавил он после паузы и вздохнул. — Но все же я, мне кажется, счастливее вас! Там, — и он указал на купол, — время исчисляется миллионами лет. Что значат для звезд наши столетия.. Вы никогда, Джонсон, не наблюдали звездного неба в телескоп?

— Не до этого было, — махнул рукой Джонсон.

— Посмотрите на нашего вечного спутника Луну! — И Лесли провел Джонсона к телескопу.

Джонсон посмотрел в телескоп и невольно вскрикнул от удивления. Лесли засмеялся и сказал с удовольствием знатока:

— Да, таких инструментов не знало наше время!..

Джонсон видел Луну, как будто она была от него на расстоянии нескольких километров.

Огромные кратеры поднимали свои вершины, черные, зияющие трещины бороздили пустыни.

Яркий до боли свет и глубокие тени придавали картине необычайно рельефный вид. Казалось, можно протянуть руку и взять один из лунных камней.

— Вы видите, Джонсон, Луну такую, какую она была и тысячи Лет тому назад. На ней ничего не изменилось... Для вечности семьдесят пять лет — меньше, чем одно мгновение. Будем же жить для вечности, если судьба оторвала нас от настоящего! Будем погружаться в анабиоз, в этот сон без сновидений, чтобы, пробуждаясь раз в столетие, наблюдать, что творится на Земле и на небе.

Через двести — триста лет мы, быть может, будем наблюдать на планетах жизнь животных, растений и людей... Через тысячи лет мы проникнет в тайны самых отдаленных времен. И мы увидим новых людей, менее похожих на теперешних, чем обезьяны на людей...

Быть может, Джонсон, будущие обитатели нашей планеты низведут нас на степень низших существ, будут гнушаться родством снами и даже отрицать это родство? Пусть так. Мы не обидчивы. Но зато мы будем видеть такие вещи, о которых и не смеют мечтать

люди, отживающие положенный им жизнью срок... Разве ради этого не стоит жить, Джонсон?

По нашей просьбе меня и Мерэ снова подвергнут анабиозу. Хотите присоединиться к нам?

— Опять? — с ужасом воскликнул Джонсон. Но после долгого молчания он глухо произнес, опустив голову:

— Все равно...